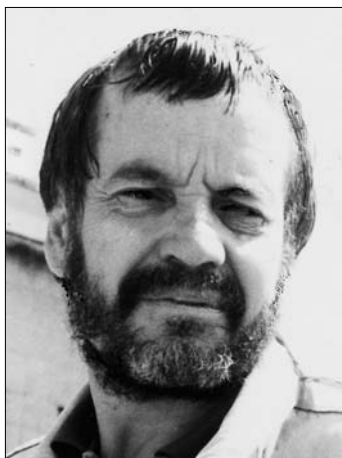


АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН



СЧАСТЬЕ, или НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

РАССКАЗ

Диву даюсь, столь милостиво приветил Господь мою судьбу, хотя жил и в безбожии, и во грехах, как в шелках, сгорая в страстях дольного мира, не ведая о мире горнем. Оглядел я тихим душевным оком нажитую жизнь от таёжного и полевого, от речного и озёрного деревенского рассвета до старгородского заката и подивился: верно молвлено, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ибо нет худа без добра....

Худо с добром

Счастье: явился я на Божий свет поздним и непутёвым парнишкой. За-скребыш, поздонушко, отхон... К сему родился шестипалым и чуть не помер младенцем от воспаления лёгких, едва отвадился, а посему... И что сдуру кинулся в писательство?.. Матушка жалела меня, как Иванушку-дурачка; жалела сильнее, чем старших братьев, а сердобольные сестры опекали, одевали и обували меня, студента прохладной жизни, потом нищего сочините-

БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич родился в забайкальском селе Сосново-Озёрск. После окончания Иркутского университета работал в областных газетах, преподавал русскую литературу в школах. С начала 90-х годов — преподаватель стилистики и русской этики на филологическом факультете Иркутского госуниверситета. Автор книг “Старый покос” (повесть), “Поздний сын” (повесть), “Боже мой...” (роман), “Яко богиню землю нареки” (фольклорно-этнографические, историко-публицистические и художественные очерки), “Русский месяцеслов” (обычаи, обряды, поверия, приметы русского народа). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

ля, за что я вывел братьев и сестёр добрыми героями своих сочинений. Лишние пальцы отсушили и отсекли в младенчестве, но порой оживал и змеился февральской позёмкой изыскательный слухок: “Лукавый пометил...” Ну, да на всякий роток не накинешь платок, и усмехаюсь я на суеверные условия с высокой колокольни.

Счастье: рос я впроголодь. Не одыбали после войны, а посему ведаю цену хлеба на скоблённой дожелта столешне и златогривой ниве, и четверть века внушаю домочадцам беречь хлеб, как и прочее добро, нажитое горбом.

Счастье: жили мы в стуже и нуже, но бедность и породила жажду выбиться в люди и зажить побогаче — вроде из деревенской грязи в паркетные князи. А посему смалу пришлось вкалывать, засучив рукава, и хотя живу не до жиру, быть бы живу, но лишь в азартной, изнуряющей пахоте дремлют мои языческие страсти, расцветающие буйно-лиловым чертополохом в праздности. А ежели бы смалу и по сивую гриву ведал страх Божий перед смертными грехами, вышел бы в благочестивые деревенские мужики, что крестят лоб не по привычке, а по вере православной, по жажде наследовать Царствие Небесное.

Счастье: от нужды матушка сплавила меня малого в село Погромна к тёте Вале, где жили посытнее, и там я, несмышлёныш, набирался ума от столетнего деда Лазаря, почившего в Бозе на сто шестом году своего долгого века.

Счастье: родился я в многочадивой семье. Матушка моя, Софья Лазаревна Андриевская, — из староверов-семейских*, отец Григорий Григорьевич Байбородин, — забайкальский гуран**; вырастили они нас восьмерых. Пятерых старших матушка тянула одна пять голодных и голых военных лет.

Счастье: в многодетной бедной деревенской семье сызмала заставляли вкалывать от зари до зари: чистить коровьи стайки, носить воду с озера, поить коров, колоть дрова, копать картошку, удить рыбу, собирать брусницу, голубицу... Чем и разожгли азарт к труду и тоску в праздности, что позволило, несмотря на вечную нужду и грошовый отхожий промысел, сочинить романы, повести, рассказы и очерки, в коих я восславил смиренных и трудолюбивых родичей.

Счастье: в тоскливых предутренних сумерках, до первых петухов, когда сладкий сон, мать будила меня, подростка, и посылала на рыбалку — рыбой кормилась семья; и я брёл к постылому и стылому туманному озеру, кляня своё горькое детство; но когда тепло и зорево адела водная гладь и рябь, когда оголодавший окунь клевал почти на голый крючок, душа моя по-чаячьи плескалась, купалась в счастливом мираже. Прожив детство и отрочество среди озёрных красот, мечтал я стать художником и капитаном дальнего плавания.

Счастье: отец мой, Григорий Григорьевич, гонял меня как сидорову козу. Если я забывал напоить корову, вычистить стайки, наколоть дров, если я разбрасывал топоры, ножовки и удочки, которые он содержал в красе и холе, отец сходил с ума и мог захлестнуть вожжами, коль подвернёшься под горячую руку. Это привадило меня к порядку.

Счастье: смалу и до зрелости не ведал я телевизора — душегубца, измышленного полуночным бесом на погибель душ человеческих. Зубрил стихи при керосиновой лампе, читал волшебные сказки... Сызмала и по сивую бороду люблю бажовское “Серебряное копытце” и стихи Пушкина, навеянные поэту крестьянской няней Ариной Родионовной. Вижу сквозь сумрак лет: в тёплую, ласковую избу с воем скребётся пурга, и дивно при сказочно мерцающем, чарующем, желтоватом язычке пламени сказывать, метельно завывая:

*Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.*

* Старообрядкой была лишь по родовому корню, по вере и молитве — в Русской Православной Церкви, чужаясь семейских-староверов.

** Гуран — русский забайкалец, в близкой родне которого были тунгусы либо буряты, что выражалось в облике и повадках.

*То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...*

Либо:

*У Лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том,
И днём, и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом...*

Если отец жалел керосин и светила ясная луна, читал былины и небылицы подле окна. Поминался вычитанный в книжке семилетний казачок, ко-
ему барин не позволял письму учиться. Лунными ночами казачок тихо-тихо,
на цыпочках крался к морю и писал на сыром песке азъ, буки, веди, по-
том — слова и строки, а волны смывали отроческие письма с песка, но не
могли смыть из памяти. Кажется, казачок тот вырос в народного поэта.

Счастье: рос без телевизора, не лупил я зенки на уродищ заморских —
бесову нежить, что без передыху гробит народ, отчего из голубого демонско-
го ящика багровой рекой плещет кровь человека, словно одичалая вешняя
вода. Я же вечерами при тихом, уютном и ласковом свете керосинки слушал
потехи и бывальщины про старопрежнюю жизнь, а и просто житейские слу-
чай, что ведали отец и мужики. Подросши, и сам затейливо выплетал чудные
побаски, лёжа с приятелями на душистом сене и зачарованно глядя в сонно
мерцающие, белые звёзды. За то меня привечали даже деревенские варнаки
и лишний раз не обижали.

Счастье: рос и матерел я в глухой деревне, вокруг меня и во мне звучал
мудрый и прекрасный народный говор, коим я насытил и перенасытил свои со-
чинения.

Счастье: уродился я деревней битой — сибирский катанок, но ведь рус-
ский дух — дух деревенский, коль Россия наша матушка изначально и до се-
дины жила лесной и полевой деревней. Да и поныне уживаются в русской
душе истовая набожность, восходящая к святой юродивости, и суверенная
тьма, божественные взлёты души и мрачные падения, церковь и кабаки,
но исконный дух — деревенский: любовь к Богу и ближнему, любовь искрен-
няя, до скорбных и умиленных слёз, горняя мудрость, яко у сказочного Ива-
на, затейливая притчевая речь, азартное трудолюбие, выносливость, терпе-
ливость, настырность, совестливость и стеснительность, побратимство, лю-
бовь к малой родине, из коей зреет и любовь к Святой Руси. И этот дух по-
соблял деревенским творить чудеса в любом ремесле. Недаром же Василий
Макарович Шукшин заспорил в “Чудике” с высокомерным городом: “Да ес-
ли хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в чёр-
ной рамке, так смотришь — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Что
ни фигура, понимаешь, так выходец, рано пошёл работать...”

Счастье: мама моя, Софья Лазаревна, не ведала грамоты и, послуныя чер-
нильный карандаш, расписывалась кургузым крестиком — крестьянка-христи-
анка, смиренно несущая крест, — почему и оберегла в душе незамутнённую
книжной грамотностью народную сердечную мудрость и жалость к ближнему.
Позже мама хвалилась в семейных застольях: дескать, у меня все ребята вы-
шли в люди, лишь один... вроде Иванушки-дурака... книжек начитался... —
и мама с любовью и скорбью глядела на меня, бесполового. Поклон маме на
ласковом слове, но до Иванушки мне, грешному, словно до Небес Божьих, ибо
сказочный Иванушка — предтеча христоролюбивых и человеколюбивых юроди-
вых, коим за святость и пророчества возводили храмы на Руси, и миряне, за-
палив свечи у их святых ликов, просили молиться за них, живущих день во
грехах, ночь во слезах. Я же к сему молитвенно призывал и мученика Анато-
лия: “Моли Бога о мне, святыи угодниче Божий Анатолий, яко аз усердно к те-
бе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей”.

Счастье: на рыбалке я потерял большой палец правой руки, и теперь не
могу хвастливо загнуть его: мол, жизнь моя во!.. Но и фигу не могу сладить
и уж хоть тем не обижаю ближних.

Счастье: в юности и молодости я немало перехворал: то спину скрутит, то почки, то неврит лицо перекосит, и невралгия дикой болью и жаркой слезой глаз опалит, а то вовсе выкатится свет из ока, то иная холера привяжется, но благодаря хворям постиг я и очистительную силу страдания, хотя и понимал: ох, не по грехам моим милостив Бог. В буйный разгар юности на моих пятках выросли петушьи шпоры, в назидание ли, в наказание ли года три я ковылял, как ветхий старичишко. Надо было подаваться в бухгалтера либо в писателя. А коль в арифметике я со школьной лавки дуб дубом, то на радость и маету оставалось писательство.

Счастье: отлично сдал я три основных экзамена, но с треском завалил побочный — сочинение, потому что в слове “ещё” мог сделать четыре ошибки — “исчо”... И всё же мне повезло: не поступив в институт сразу после десятилетки, пошёл вкалывать на завод, затем — в газету, нажил мало-мальскую судьбу, а без судьбы писательство — лукавое пустобайство.

Счастье: не поступив в учение, год протолкался на судостроительном заводе. Так и не выучился на фрезеровщика — страсть как боялся: вырвется железяка из тисков и прилетит в бестолковую мою голову, и окочуришься в расцвете сил. Страх перед фрезерным станком породил философскую неприязнь к технической цивилизации и усилил любовь к вольным лесам и степям, о чём на разные лады толковал я в ранних сочинениях.

Счастье: через год меня, технически круглого дурака, выпихнули с завода, я вернулся в родной Сосново-Озёрск и пошёл батрачить в русско-бурятскую аймачную газету “Улан-Туя” (“Красная заря”), и уже о ту юную пору начал грешить писательством... А через год меня, восемнадцатилетнего деревенского паренька, негаданно взяли в республиканскую газету “Молодёжь Бурятии”, что смахивало на чудо, потому что журналисты с университетскими “поплавками” подолгу и беспроклю обивали редакционные пороги.

Счастье: на четвёртом курсе меня взащей вытурили из университета, поскольку я отлынивал от глухих лекций, вольнодумничал... И я уехал с женой и дочкой на Северный Байкал, где строили Байкало-Амурскую магистраль. Мы, нищие студенты, голь перекаточная, нежданно-негаданно огребли кучу денег и в одночасье угодили в сказочно сытую северную жизнь. Прибарахлились, откормились на БАМовских харчах да байкальских омулях, и вдосталь налюбовались на величавые байкальские красоты, а я испробовал азартную и добычливую омулёвую рыбалку. А через год, вернувшись в Иркутск, пристроился в заочники и, будучи студентом, пробился в “Советскую молодёжь” — газету, славную тем, что раньше там обитали именитые писатели — Вампилов и Распутин.

Счастье: в отличие от своих однокурсников, которые распределились в газеты, на радио и телевиденье, я распределился в дворники. По нынешнюю седую бороду почитаю дворничье ремесло самым благородным в мире: загаживать землю все мастера, а вот прибирают лишь дворники. Недаром поэт Воронов — нелепо погибший студент-журналист — красиво сочинил про нас, дворников:

*...И трудно, и больно...
И белые дворники наши,
Кружатся, кружатся
И улицу нашу метут.
Метите, метите,
Пока вам метёлки отпущены,
Не день и не два поднимать на заре,
Пока что люди, вами разбуженные,
Не поймут, что рай наступил
На весеннем дворе.*

Счастье: много лет я дворничал... У дворника уйма вольного времени — пиши, хоть запишись... И я сочинил полон стол. Ежели в моей лесной избушке будет туго с дровами, можно рукописями печку топить.

Счастье: получил я дюжины три сердитых отказов из русских журналов (в русскоязычные я и носа не совал) и после всякого отказа злился, старался сочинять мудренее, ярче, хотел доказать, что я хоть и не московский хлыщ, а тоже не лыком шит. Ничего не доказал, и моя творческая жизнь прошла в сплошной переписке и перезвонке с издательствами и журналами; чтобы услышать *от ворот поворот*, надо и достучаться, а иначе — *поцелуй пробой и вали домой*. Столичные редакторы винили мою природную сельскую прозу в фольклоризме, этнографизме, словесном орнаментализме и сердобольно интересовались, нет ли у меня другой какой завалющей профессийки?.. Есть: дворник и, Бог весть, может, с метлой и завершу свой грешный век...

Счастье: не выбился я в именитые писатели и с нуждой не разминулся — при знаменитости и сытости, да при тугой мошне языческие пороки мои, обрета дикую степную волю, быстро бы спалили душу мою. А пока душа мается меж Божиим Светом и лукаво искусительной тьмой...

Добро без худа

Счастье: вырастил я двух дочерей, Алёну и Машу. В малолетстве жили чадушки, яко ангелы, и тем приваживали меня к добру, отчего я доспел: не мы, взрослые, одрябшие душой, забородатевшие грехами, учим малых чад любви к Богу и ближнему, а они нас, пока живы наши души.

Счастье: сочинения мои читали, разбирали... Бывало, поругивали, а бывало, и похваливали писатели, при упоминании коих у меня, зелёного и заполошного, от волнения подрагивали коленки.

Счастье: худо-бедно, издал за писательский век с десяток книг, и грех плакаться на земную судьбу. Но вообразжу свою душу, павшую ниц перед Богом, и тревога сосёт душу: а не *искус* ли грядущим читателям моё *искусство*?.. Не от князя ли тьмы?.. Ибо, воспевая земное, редко задумываясь о Царствии Небесном, сочинял по мудрости дольней (земной), что безумие для мудрости горней (божественной). Вопрошаю и не слышу ответа оглошшей душой...

Счастье: много ведал я ближних, что в полную душу любили меня и подсобляли жить; но жаль, мало кому я ответил безоглядной любовью... Прости мя, Господи.